

Писательские судьбы редко бывают счастливыми... Справедливо это и в отношении писательской судьбы Михаила Шолохова, хотя он рано приобрел признание и, будучи еще совсем молодым человеком, вошел в ранг классика...

Но это — внешняя сторона дела.

За внешней атрибутикой громкого успеха — чернота ненависти, которая сопровождала писателя всю жизнь. Его «Тихий Дон» почти сразу, после публикации первых книг, был объявлен плагиатом, была создана специальная комиссия, перед которой писатель отчитывался, доказывая, что он сам написал роман. Этой разборкой дело не ограничилось. На протяжении десятков лет целая армия прокуроров от литературоведения кормилась, подыскивая подходящую кандидатуру на роль подлинного автора.

Вдаваться в анализ потоков лжи — дело заведомо бессмысленное. Но о самом подлом аргументе, которым издавна уже пользовались завистники писателя, сказать нужно. Шолохов, утверждали они, потому не мог написать «Тихого Дона», что он написал «Поднятую целину»...

### Ответ критикам «Поднятой целины»

Поразительно, но критики «Поднятой целины» и сейчас искренне убеждены, что второй роман Шолохов написал, старательно обходя все острые проблемы эпохи, все опасные углы...

Утверждать подобное можно, только не открывая романа.

Ведь в романе Шолохова рассказано и о том, как выгоняли зимою из родных, дедами построенных домов «кулацкие» семьи, как везли их с детишками на Север, на верную смерть. И как, спрашивается, можно не услышать истерического крика Андрея Разметнова:

— ...Я... с детишками не обучен воевать!..

У Нагульнова при этих словах Разметнова начинает дергаться мускул щеки, глаза загораются, а у Давыдова «медленно крылась трупной синевой» (здесь и далее выделено нами. — Авт.) щека.

Или, может быть, о так называемых нарушениях соцзаконности промолчал в «Поднятой целине» М.А. Шолохов? А как же тогда подпоручик Лятевский, левый глаз которого выбил на допросе сотрудник краевого управления ОГПУ товарищ Хижняк?

Нет... Пишет Шолохов и о раскулачивании, и о жестоком принуждении к колхозной жизни, звучат в его романе и голоса бывших белогвардейцев, рассказывающих о своей правде. Другое дело, что Шолохов не идеализирует и кулаков, или, вернее, тех людей, которых по решению актива записали в кулаки... А образы коммунистов, организаторов колхоза, хотя и далеки они от идеала, но показаны писателем с нескрываемым сочувствием. Более того — «вот отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову» — Шолохов открыто признается в любви к этим своим героям.

И вот именно этой любви писателя к своим героям-коммунистам и не могут простить Шолохову его недоброжелатели. Эта любовь, над которой писатель и сам не властен, как не властен в своей любви любой человек, настолько застит глаза критикам Шолохова, что они и не замечают, что роман «Поднятая целина» совсем не о коммунистах и белогвардейцах, не о борьбе организаторов колхозов с «кулаками», а совсем о другом...

«В конце января, овейные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли...»

Эта первая фраза — камертон к дальнейшему повествованию, в ней — ключ к замыслу всего романа. Стоит лютая зима, и вот среди зимнего холода, где-нибудь в затишке, вдруг возникает чуть внятный запах весны, пробуждения.

Сейчас, оглядываясь из XXI века на советскую историю, мы ясно видим, что чужеродные для России коммунистические идеи после неисчислимых страданий и рек пролитой крови оказались «уроднены» Россией гораздо основательней, чем это представлялось раньше. Этот процесс мучительного «уроднения» и нарисовал Михаил Шолохов в «Поднятой целине».

Кто такой двадцатипятилетний Семен Давыдов?

Вспомните о «холоде, взявшем в тиски» его сердце, когда он въезжал в Гремячий Лог.

Вспомните о «трупной синеве», которой тогда медленно крылась его щека...

Перед нами не человек, а некая функция, для которой не существует людей, ибо все они разделены на «товарищей» и «классовых врагов». Поэтому и самые жестокосердные решения принимает Давыдов, не волнуясь, не испытывая никакой жалости.

Под стать Давыдову и секретарь партячейки Макар Нагульнов.

Во время истерики Разметнова Нагульнов «вкогтился в крышку стола, держал ее, как коршун добычу». И лицо его — «одевавшееся мертвенной пленкой».

И когда человеческие чувства зашевелились в недостаточно омертвевшем Разметнове, Нагульнова охватывает ярость.

— Гад! — кричит он. — Как служишь революции? Жа-ле-е-ешь? Да я... тысячи станови зараз дедов, детишек, баб... Да скажи мне, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их из пулемета... всех порежу!

И здесь самое время обратить внимание на необыкновенную близость шолоховского Макара Нагульнова Копенкину из платоновского «Чевенгура».

«Копенкин надеялся и верил, что все дела и дороги его жизни неминуемо ведут к могиле Розы Люксембург. Каждое утро Копенкин приказывал коню ехать на могилу Розы...

— Роза! — уговаривал свою душу Копенкин и подозрительно оглядывал какой-нибудь голый куст: так же ли он тоскует по Розе. Если не так, Копенкин подправлял к нему коня и ссекал куст саблей: если Роза тебе не нужна, то для иного не существуй — нужнее Розы ничего нет».

Мысли Копенкина о Розе Люксембург почти текстуально совпадают с мечтаниями Нагульнова о мировой революции.

— Я весь заостренный на мировую революцию, — рассказывает про себя он. — Я ее, любушку, жду... А баба мне — тьфу, и больше ничего.

Как и Копенкин, Нагульнов убивал много лет подряд кого ни попадя «равнодушно, но насмерть», правда, порою у него в уголках губ закипает пена, но в такую минуту Нагульнов готов был убить и соратника.

Запах мертвечины, которым в первых главах романа несет от Давыдова и Нагульнова, отчетливо слышит Лушка, побывавшая женой одного и любовницей другого.

— У вас кровя заржавели от делов... — говорит она Давыдову.

И уходит к сыну кулака Тимофею Рваному, уходит, потому что он — живой.

В соперничестве за Лушку Тимофей дважды выходит победителем. И Нагульнов, и Давыдов жестоко страдают от этого любовного поражения.

Нагульнов, стиснув зубы, принимается за изучение английского языка, который потребует ему для его вечной возлюбленной — мировой революции, а Давыдов уезжает на пахоту, в тяжелой, непривычной работе пытается одолеть тоску.

Макар Нагульнов выследит и убьет Тимофея Рваного. Убьет не за Лушку, а все за ту же нежно любимую им мировую революцию.

«Умолкший после выстрела коростель снова заскрипел несмело и с перерывами.

Стремительно приближался рассвет. Росла, ширилась багряная полоска на восточной окраине темно-синего неба. Уже приметно вырисовывались купы заречных верб. Макар встал, подошел к Тимофею. Тот лежал на спине, далеко откинув правую руку. Застывшие, но еще не потерявшие живого блеска глаза его были широко раскрыты. Они, эти мертвые глаза, словно в восхищенном и безмолвном изумлении любовались и гаснущими неясными звездами, и тающим в зените опаловым облачком, лишь слегка посеребренным

снизу, и всем безбрежным небесным простором, закрытым прозрачной, легчайшей дымкой тумана»...

Тимофей и после смерти жадно вбирает в себя красоту земли. И в этом смысле и после смерти он более живой, чем живой Нагульнов.

И дальше одна из самых гениальных страниц романа — диалог живого и мертвого соперников:

«Макар носком сапога коснулся убитого, тихо спросил:

— Ну что, отгулялся, вражина?

Он и мертвый был красив, этот бабий баловень и любимец. На не тронутый загаром, чистый и белый лоб упала темная прядь волос, полное лицо еще не успело утратить легкой розовинки, вздернутая верхняя губа, опущенная мягкими черными усами, немного приподнялась, обнажив влажные зубы, и легкая тень удивленной улыбки запряталась в цветущих губах...

Ни недавней злобы, ни удовлетворения, ничего, кроме гнетущей усталости, не испытывал теперь Макар, спокойно разглядывая убитого».

Обратите внимание, что Нагульнов не крикнул, а тихо спросил. Тимофей не мог ответить, но он ответил на обращенный к нему вопрос удивленной улыбкой, запрятавшейся в цветущих губах. И Нагульнов, привычный к разговору с убитыми, спокойно разглядывая Тимофея, понял этот ответ. Понял, что, и убитый, Тимофей Рваный остается живее его, и сразу гнетущая усталость навалилась на плечи. Он победил, но победа обернулась поражением.

И вот тогда и ломается Макар Нагульнов, этот верный рыцарь мировой революции, готовый ради нее пустить в распыл тысячи детишек и баб. Он выпускает запертую в сельсовете Лушку — эту избалованную пособницу классового врага. Более того, он предупреждает ее об опасности.

Впрочем, сейчас ли ночью изменил Нагульнов делу мировой нелицемерии? Может быть, эта измена была совершена им, когда, позабыв об учебнике английского языка, застыл он у раскрытого окна, вслушиваясь в переключку гремяченских петухов? Когда спасал предназначенного на убой петуха с полюбившимся ему голосом?

Но сейчас Нагульнов предает мировую революцию уже открыто и бесповоротно.

— Зря! — говорит ему Разметнов.

— Молчи! — глухо сказал Макар. — Я ее все-таки люблю, подлюку...

А как же «любушка» мировая революция?

А как же быть с клятвой Нагульнова, что ему бабы «тьфу, и больше ничего»?

Когда он кривил душой, тогда или сейчас? А может быть, и не кривил? Может быть, и тогда, и сейчас он искренен? Просто сейчас очнулся от копенкинского обморока, захотел жить по-человечески, а не как нелицемер?

Схожая метаморфоза происходит в романе и с Семеном Давыдовым. Могучий и древний дух проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли пробуждает и его омертвевшую душу.

Как помнит читатель, окрещенный было «железным аршином», в дальнейшем Давыдов становится «любушкой Давыдовым». И происходит это тогда, когда за безликими кулаками, середняками, бедняками, вопреки всякой логике классовой борьбы, всаженной в его голову, начинает Давыдов различать лица живых людей, начинает жить их заботами и в результате и сам оживает.

И это и есть — поднятая целина.

О залежных землях, которые собираются распахать в гремяченском колхозе, в романе говорится мимоходом. Зато о поднятой целине человеческих душ, омертвевших, подобно душе Копенкина, говорится на каждой странице шолоховского романа...

Приехавший в Гремячий Лог заврайзо Беглых советует Давыдову придерживаться классового принципа при возвращении скота выходцам из колхоза.

Давыдову это непонятно, но Беглых дискутировать не собирается.

— Это не наша установка, а окружка! — говорит он. — И мы, как солдаты революции, обязаны ей беспрекословно подчиняться.

Фразеология знакомая. «Солдаты революции» тут как пароль, по которому проверяется, свой ли Давыдов. Те в партии, против кого направлена статья Сталина «Головокружение от успехов» и вся его линия, спешно ищут сейчас своих.

И если бы Давыдов оставался своим для них, если бы неуклонно провел он директиву окружка, может, и сбылся бы план Половцева, может быть, и заполыхало бы восстание на Дону, а там, глядишь, и какой-нибудь Тухачевский приспел бы, чтобы из орудий, как в Тамбовской губернии, расстреливать целые деревни, снова бы заполыхала гражданская война, снова бы реками полилась русская кровь.

И это не парадокс, а логика освобождения от навязанного мифа о классовой борьбе, что партийные начальники становятся, по существу, союзниками белогвардейских организаторов восстания.

Давыдов и Половцев, Нагульнов и Островнов...

Кажется, еще небольшое усилие — и они стали бы Железняками и Мамонтовыми, Махно и Чапаевыми, если бы заполыхал снова огонь войны.

Он не заполыхал.

Его удалось затушить вовремя, и удалось потому, что все герои романа медленно и трудно, но успели осознать себя своими между собой.

Половцев понял это, когда к нему приехал с директивами о начале выступления агроном краевого сельхозуправления, бывший полковник Генштаба Никольский-Седой.

Этот «генштабист» приказывает Половцеву с двумястами повстанцами форсированным маршем идти на Миллерово...

— Господин полковник... — говорит Половцев, — вы меня посылаете вязываться в бой с кадровым полком Красной Армии. Не кажется ли вам, что это невыполнимая задача при моих возможностях и силах?

— Я думаю, напрасно вас произвели в есаулы в свое время, — говорит Никольский. — Если вы в трудную минуту колеблетесь и не верите в успех задуманного нами предприятия, то вы ничего не стоите как офицер русской армии!

Ответ «генштабиста» Никольского удивительно напоминает ответ, данный Давыдову заврайзо Беглых: «...Мы, как солдаты революции, обязаны беспрекословно подчиниться установке окружка... Никаких разговоров и дискуссий!»

Шолохов не замыкает романную линию, объединяющую партийных начальников из окружка и бывших генштабистов, непосредственно готовивших восстание, эта линия сама замыкается в ответе Половцева, прозревшего, с каким врагом ему нужно бороться. Они, эти чекисты, эти партийные начальники из окружка, эти бывшие генштабисты, сделавшиеся агрономами краевого сельхозуправления, были своими между собой, и все вместе они были против половцевых, давыдовых, нагульновых.

Первая часть «Поднятой целины» вышла в свет в тридцать втором году, вторая книга — в шестьдесят первом, когда вместе с невинно осужденными оказались реабилитированными и тысячи палачей русского народа... Во времени романа между двумя книгами проходят недели, в жизни автора и всей страны — десятилетия, целые эпохи.

«Каждое утро, еще до восхода солнца, Яков Лукич Островнов, накинув на плечи заношенный брезентовый плащ, выходил за хутор любоваться хлебами. Он подолгу стоял у борозды, от которой начинался зеленый, искрящийся росинками разлив озимой пшеницы. Стоял неподвижно, понурив голову, как старая, усталая лошадь, и размышлял: «Ежели во время налива не дунет «калмык», ежели не прихватит пшеничку суховеем, сгрузится зерном колхоз, будь он трижды Богом проклят!».

Так начинается вторая книга «Поднятой целины». В начале первой книги Островнов подписывает клятву, начинающуюся словами «С нами Бог!». Теперь снова вспоминает он о Боге, посылая его проклятие на колхоз, в котором состоит сам, а значит, и на свою голову.

Всего несколько месяцев разделяют эти сцены, но какие разительные перемены произошли в герое. Если Нагульников и Давыдов яснее, становятся чище с каждой страницей романа, отряхнув с себя чужеродную мертвь, то Островнов запутывается в своей жизни все сильнее.

А впереди у него еще горенка, в которой придется ему заморить голодом собственную мать, ту мать, у которой в начале первой книги просил он благословения, и это придется ему сделать именно ради того дела, на которое и благословлялся он. Старуха умрет, изжевав беззубыми деснами забытую на лежанке кожаную рукавицу... Впереди еще весь смертный ужас, сквозь который предстоит пройти Островнову и провести свою семью.

Шолохов — один из величайших реалистов и правдолюбивых нашего века.

Его роман не о колхозах. О «счастливой» колхозной жизни напишут другие писатели.

Роман Шолохова — о пробуждении душ и о той ненависти, которую вызывает у нелицы это пробуждение.

И, закрывая эту печальную и мудрую книгу, трудно отделаться от ощущения, что грянувший в доме Якова Лукича «страшный в ночной тишине... рокот ручного пулемета» не летом 1930 года раздался, а посреди столь прославленной «хрущевской оттепели».

И это тогда: «Сраженный, изуродованный осколками гранаты, Нагульников умер мгновенно, а ринувшийся в горницу Давыдов, все же успевший два раза выстрелить в темноту, попал под пулеметную очередь».

Впрочем, это и не ощущение, а факт, как любил говорить Давыдов.

Ведь как раз тогда, осенью 1960 года, и «отпели донские соловьи дорогим шолоховскому сердцу Давыдову и Нагульникову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака...»

[http://www.sovross.ru/2005/47/47\\_3\\_6.htm](http://www.sovross.ru/2005/47/47_3_6.htm)